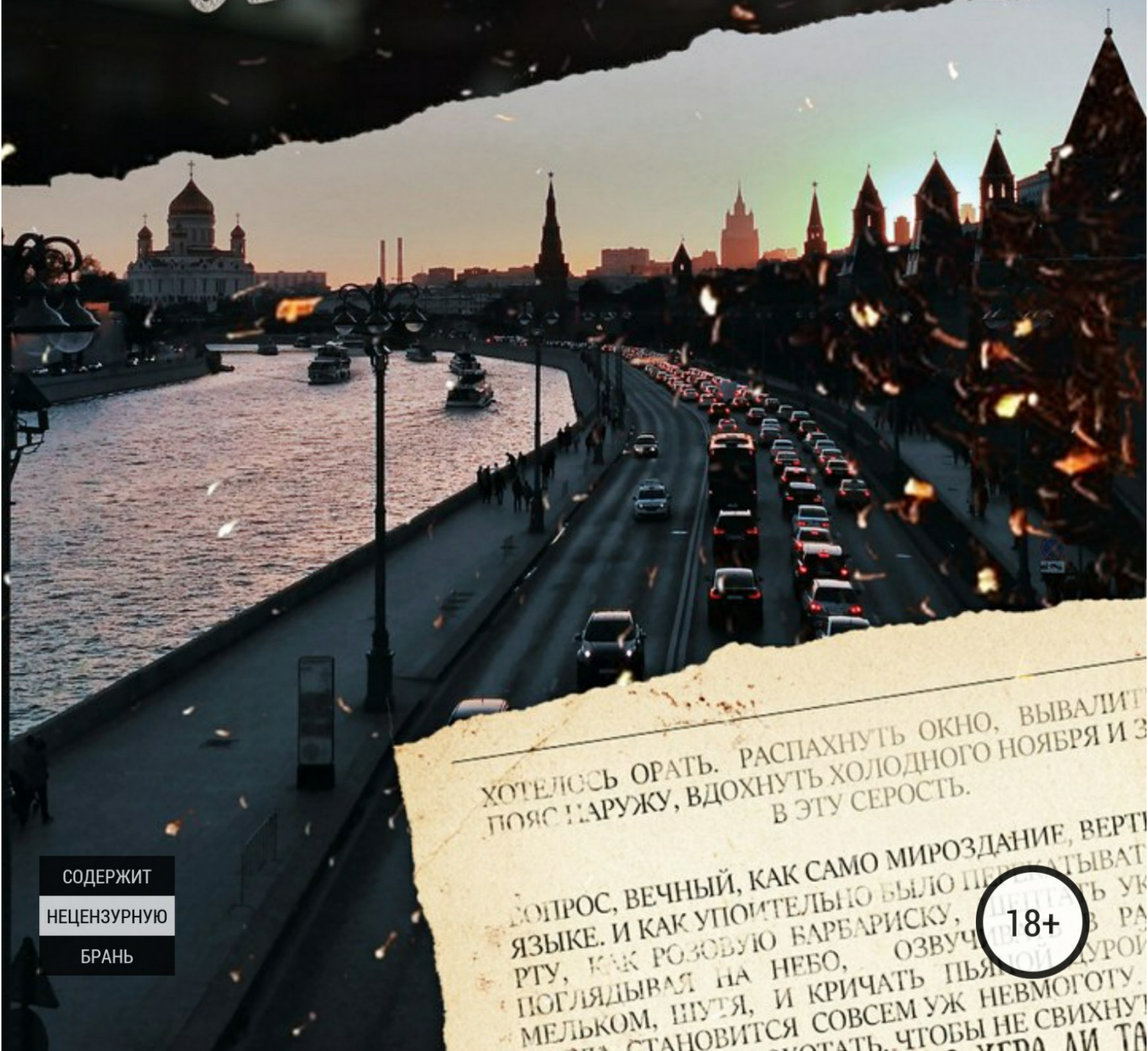


ОЛЬГА ПТИЦЕВА

# ЗРЯЧАЯ НОЧЬ



ХОТЕЛОСЬ ОРАТЬ. РАСПАХНУТЬ ОКНО, ВЫВАЛИТЬ  
ПОЯС НАРУЖУ, ВДОХНУТЬ ХОЛОДНОГО НОЯБРЯ И З  
В ЭТУ СЕРОСТЬ.

ВОПРОС, ВЕЧНЫЙ, КАК САМО МИРОЗДАНИЕ, ВЕРТ  
ЯЗЫКЕ. И КАК УПОИТЕЛЬНО БЫЛО ПЕРЕКЛЫЧАТЬ  
РТУ, КАК РОЗОВУЮ БАРБАРИСКУ, ОЗВУЧИВАЮЩЕЮ РА  
ПОГЛЯДЫВАЯ НА НЕБО, МЕЛЬКОМ, ШУТЯ, И КРИЧАТЬ ПЬЯНОЙ ДУРОЙ  
СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ УЖ НЕВМОГОТУ. СМОТЯТЬ, ЧТОБЫ НЕ СВИХНУТ  
УГРОЗА МИ ТА

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Ольга Птицева

**Зрячая ночь. Сборник**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

**Птицева О.**

Зрячая ночь. Сборник / О. Птицева — «ЛитРес: Самиздат», 2018

"Зрячая ночь" - сборник короткой прозы, где повседневная реальность искажается, меняет привычный облик, оголяя силы темные и могущественные, которые скрывались в самой ее сути. Герои теряются среди сонных улиц города, заводят себя в тупик, чтобы остаться там, обвиняя в горестях неподвластный им рок. Огромные города полнятся потерянными людьми. И о каждом можно написать историю, достойную быть прочитанной. Содержит нецензурную брань.

© Птицева О., 2018

© ЛитРес: Самиздат, 2018

### Нина

Сердце болело с ночи. Болело несильно, но как-то страшно, обреченно даже. Стоило вдохнуть легонько, чтобы только не давиться жаждой воздуха, как под ребрами начинало колоть чем-то тупым и горячим. Интересно, бывает ли горячей боль? Не ожог там, не раскаленным тефлоном о пальцы, а боль – поток сухого ветра пустыни. Горячо, аж губы пересыхают. Не боль, а печка.

Так и говорят же, услужливо вспомнилось: «печет». Вот. В сердце пекло. Отдавалось в спине, растекалось раскаленным оловом в пояснице, тянуло руку, то левую, то правую, горело между ключицами, горчило на корне языка. Вроде бы тошнит, но не желудком, другим чем-то. Хочется всю себя измять, найти в мягком эпицентр боли – горячий уголек, сжать его, выдавить наружу, смахнуть брезгливо и забыть. Да куда там? Больно.

Больно. Больно. Больно.

Нина ложилась на спину, вытягивала руки вдоль тела, распрямляла колени, тянула на себя носки. Вдыхала воздух – выдыхала боль. Так учила бодрая тетка на утренней растяжке в отеле. Надо ж было хоть раз заглянуть на оплаченное занятие, коль по дурости своей цапнули «все включено», а «все» – это оказалось куда больше, чем им, идиотам, нужно. Да и что там нужно, когда вы двое – потные, скользкие, как угри, – свиваетесь в плотный комок, стоит только пересечься взглядами? Кровать размера «кинг» и много воды сразу после. Секс обезживает, знаете ли. Они – знали, вылавливали лед из кувшина, брали его онемевшими губами; льдинки выскальзывали на простынь и таяли. Даня хохотал, скидывал Нину на пол, та визжала, тянула за собой, и все начиналось снова. И еще раз. И последний. А еще вот так, нравится? Нравится? Да? Говори, я хочу слышать! Смотри на меня, смотри на меня, когда кончаешь.

Но вспоминать нельзя. Постель эту чертову – нельзя, отель этот чертов – нельзя, бабу ту в лосинах – стройную настолько, что даже смешно – тоже нельзя. И Даню нельзя, Даню нельзя ни в коем случае.

Иначе сердце лопнет. Изольется в грудиной черной смолой. Может, так и лучше было бы. Спокойнее точно. Но подышать от несчастной любви в наши дни – пошлость. Умирать можно от старости, пуская слюни в подушку и мочу в памперс. Можно еще от большой и страшной болезни, героически страдая, борясь за жизнь до последнего вздоха. Еще от несчастного случая неплохо сдохнуть, всем в назидание, мол, тоже под Богом ходите, нечего расслабляться. А вот от любви нельзя. Не думай даже, Нинка, не дури.

И она не дурила. Переворачивалась на бок, поджимала колени к груди, дышала ровно и глубоко, насколько позволяла тупая ее и горячая боль. Горячая ее и тупая. За ночь боль стала своей, как старая нелюбимая кошка. Да, дерет мебель, воняет стухшей половой тряпкой, хвост еще этот облезлый лижет, чавкает, потом шерстью блюет, но от тетки осталась же. Не выбросишь, не усыпишь. Так и боль – обжилась внутри Нины, свернулась клубком, только щупальца выбрасывала по сторонам, чтобы множиться по телу, аукаться в нем, отдаваться то там, то сям.

К пяти утра Нина поняла, что терпеть больше сил нет. Во рту стояла горечь, такая же сухая и горячая, от нее сводило зубы, пульсировало в десне, как от зреющего флюса. Нина даже проверила щеки ладонями: правую на правую, левую на левую – не опухла ли? Нет. Боль гнездилась не там, гадина такая, не там пряталась. Если бы флюс, то делов-то, Господи! С острой

болью в первую же зубодерню. Усесться на кресло, разжаться и застыть. Пусть добрый доктор спасает ее отдельно взятый мир, жужжа бормашиной, прыская обезболом, звеня пинцетами. Пусть просит сплюнуть. Уж Нина сплюнула бы всю гадость, что накопилась в ней.

Но нет. Болел не зуб. Не живот, не голова, не перелом старый. Болело сердце. Пекло нещадно.

Да мать твою!

Это было несправедливо. Нечестно. Почему она должна вставать в пять утра с истерзанной ночными страданиями кровати? Прямо голыми пятками на холодный пол. Почему она должна брести в кухню, держась за стенку, чтобы ноги дрожащие не подломились? Почему должна открывать холодильник, морщиться от яркого света, искать в дверце темную бутылочку с валокордином? Откуда он только взялся? Мама, наверное, оставила. Надо ей позвонить. Обязательно надо. Как-нибудь. А потом отмерять в стакан проклятые тридцать капель, бояться, что сбилась, будто тридцать две пахучие капли – уже яд, и ловить себя на мысли, что в таком случае можно накапать и тридцать три. Почему она должна глотать эту мерзость, запивать водой и брести обратно по холоду в холод?

Почему? Почему?

Нина твердила это «почему», укладываясь обратно. Ее бил крупный озноб, а внутри разгорался сухой пожар. Больно. Как же ж, мать твою, это больно! Потолок сочувственно белел над Ниной, комната тонула в предрассветных сумерках. Можно было потянуться к лежавшему на тумбочке ноутбуку, загрузить очередную серию чего-нибудь шумного, разрешить себе не вникать в суть и просто смотреть, как красивые люди на экране красиво раскрывают рты. А можно было еще два часа лежать в полумраке, прислушиваться к боли, лелеять ее, как старую нелюбимую кошку, мечтать, чтобы сдохла, но бояться, что сдохнет. Потому что без боли этой, сухой и горячей, Нина снова бы осталась одна. Совершенно одна. Какой уж тут сериал, лежи себе, прощайся с болью, пока будильник не прозвенит.

Будильник обозначился в семь. А боль осталась.

С ней пришлось снова вставать на холодный пол пятками. С ней – тащиться в ванную, охая, перелезая через бортик, поворачивать вентиль и тупо стоять под теплыми струями, слушать, как звонко бьют они о фаянсовое дно. Боли было глубоко плевать и на ванну, и на воду, и на промокшие сиреневые трусы, которые Нина забыла стянуть. Боль таилась в подреберье, спекая внутренности в колючий комок: как ни вдохнешь, как ни двинешься – сразу укол, и тошнота поднимается по гортани едкой волной.

Единственным видом борьбы с миром, который Нина признавала действенным, было равнодушное игнорирование того, что не можешь изменить. Избавиться от боли не выходило, значит, нужно делать вид, что боли нет. Даже не так: делать вид, что боли никогда не было. Как не было Дани – высокого, жилистого, с сильными руками, но нежными ладонями. Как не было их странной любви – этих разговоров в ночи, этих встреч случайных, внезапных поездок, как не было баров и туалетов в барах, съемной двушки на Садовом, стремительного переезда туда, мучительного переезда обратно. Не было этого, ничего не было. И боли этой сухой и горячей тоже не было никогда.

Нина выбралась из ванны, задышала глубоко, прогоняя из тела слабость. Бодро вышла в коридор, бодро дошла до кухни. Свет вспыхнул ярко, ослепил на секунду, даже слезы на глазах выступили. Снова вдох, снова выдох. Щелкнуть по чайнику, выудить с сушилki чашку – ложка кофе, ложка сахара, кипяток, ложка сливок. Нина присела на краешек стула, сделала первый глоток и только потом поняла, что в кухню она пришла голой и мокрой, даже не отеревшись после душа. Вода капала на плитку с кончиков волос, вода стекала по обнаженному телу, морозила его, вон, кожа уже гусиная, вся в мурашках. Только холода Нина не чувствовала, ее сжигала сухая и горькая боль – личное адовое пекло прямо под левым ребром.



Хотелось орать. Распахнуть окно, вывалиться по пояс наружу, вдохнуть холодного ноября и заголосить в эту серость:

– С хера ли?!

Вопрос, вечный, как само мироздание, вертелся на языке. И как упоительно было перекачивать его во рту, словно розовую барбариску, шептать украдкой, поглядывая на небо, озвучивать в разговоре, мельком, шутя, и кричать пьяной дурой в небо, когда становилось совсем уж неумогу. А после – хохотать, хохотать, чтобы не свихнуться.

– С хера ли так больно? С хера ли так темно? С хера ли так без-на-деж-но?

Адресат, если и был он там, в низких небесах, конечно, молчал. Хмурил брови-облака, проливался тоскливым дождем, срываясь в грязные комья снега. Может, он и знал ответ, да только делиться им не спешил.

Орать Нина не стала. Поднялась со стула, аккуратно поставила чашку в раковину, залила водой, сглотнула тошноту и пошла вытираться, оставляя за собой цепочку мокрых следов.

Вышла из дома в начале девятого. Одевалась с иступленной тщательностью, как на свидание с красивым мужчиной. Дыхания не хватало надолго. Боль теперь пульсировала во всем теле, стискивала лапищами грудь, мешала вдоху, свистела на выдохе. Одышка. Кажется, так называется, когда воздух – вот он, кругом, а все равно его не хватает.

Нина присела на диван, сделала вдох, выслушала, как шумит в легких, сделала выдох. Выбрала самое красивое белье – говорят, умирать нужно в красивом белье. Сама себе посмеялась, сморщилась, нащупала колготки, одним движением натянула правый носок и снова замерла, чтобы отдохнуть. Потом левый. Потом вверх по ногам к заднице и поправила пояс. С платьем все легче, главное, попасть в рукава. Пока поднялась – сползла на пол, встала на четвереньки, зажмурилась, подышала, представляя, что тело совсем не тело, а тумбочка, у которой не может быть боли, нечему в ней болеть, а потом одним рывком, пока удержала равновесие, пока сделала пробный шаг – взмокла. Отерла лоб, взбила волосы, потянулась к косметичке. Благо, красилась немного совсем: тон там, тон сям, румяна по скулам, ресницы, помада. Все.

Как выбралась из дому, почти не запомнила. В груди жгло, будто внутри плескалось варево из васоби с хреном. Ноги стали тяжелыми – мокрая вата, не поднять. До остановки пройти-то метров двести по тропинке, но Нина шла их и шла, а когда завернула в арку между двумя высотками – остановилась, прижалась щекой к холодной стене чужого дома и замерла, прислушиваясь, как шумит в нем чужая жизнь. В лицо дул ноябрь – злой, промерзший, бесснежный. Нина попробовала его, он пах холодной землей, палой жизнью, ветками и собачьим дерьмом. Таким ветром не остудишь раскаленные угли, пылающие под левым ребром. Боль никуда не делась, – сухая и горькая, она наполняла Нину бессилием последней, решающей стадии.

И даже некому позвонить. Мама далеко, подруг растеряла, по номеру Дани, вызубренному как Отче наш – сухие гудки, коллегам не интересно, где там у Нины болит, соседям плевать, проходим подавно. Кому звонить, когда настолько больно? Когда так плохо? В скорую, что ли? Даже смешно.

– Доктор, миленький, приезжайте, пожалуйста, у меня на сердце сухая горячая боль. Кажется, я сейчас умру, доктор. А вообще, хорошо, если умру, спасибо, доктор. Не приезжайте.

Стало нестерпимо смешно. Смех тоже был сухим и горячим. Не поймешь уже, смешно или больно. Больно от смеха. Смешно до боли. Экая дурацкая шутка получается, как смешно-то, Господи! Как больно-то.

До остановки кое-как дотащишься как раз к моменту, когда автобус выскочил из утренней хмари. Народу под пластиковой крышей толпилось достаточно. Дышали паром, прятали руки в карманы бесформенных курток – все, как одна, серо-черно-мешковатые, блестящие, с линялым мехом плюшевой кошки. И вот они живут. Курят в спешке, проверяют телефоны, переругиваются с соседями, уточняя, кто там последний занимал себе место. А она, такая кра-

сивая, тонкая такая в своем строгом пальто цвета зимнего неба над Питером, подышает от боли. Вот же несправедливость чертова!

Злость придала сил. Нина рванула к остановке, встала в хвосте очереди, с вызовом огляделась. Впереди пританцовывал мальчонка лет девятнадцати: кроссовки стоптанные, джинсы потертые, черная куртка, слишком холодная для ноября, красный капюшон горбом скомкался на плечах, замерзшие ладони прячет в рукавах.

Нина поймала его рассеянный взгляд. Глаза почти черные – карие радужки, темные зрачки, узкий разрез. Сам смуглый, а лицо не восточное. Сколько крови в тебе намешано, потомок Тамерлана? Кто любил твою бабу? Кто ее бабу? Откуда появился ты, уже не южный, еще не наш? Чуешь ли, как кипит твоя кровь, как пахнет она пряной землей, высохшей на солнце? Болит ли в тебе память? Сухая ли, горячая эта боль?

Парень оглядел Нину, весь – замерзшее равнодушие, и отвернулся.

Автобус подкатил к остановке. Ухнул, задымил, остановился. На лбу у него ярко мерцал номер: «349». Триста сорок девятый маршрут. Из пригорода в город. Из области в центр. Из провинции к цивилизации. Из ниоткуда в куда.

Нина отчаянно страдала после разрыва еще и потому, что уехать пришлось ей, а не Дане. Бросить насиженное за полгода место, покидать в сумку трусы и джинсы, резинки, бутылочки и тюбики, скрупулезно выгрести из ящичка над унитазом все тампоны, а один вернуть, запрятать в самый дальний угол – пусть новая гостья его отыщет. Пусть сморщится. Поделом ей, суке.

Поделом-то поделом, но дорога до работы снова занимала добрых полтора часа по пробкам, серости и грязи. В тоскливом автобусе среди тоскливых людей, набитых, как кильки в бочку. Ни вдохнуть, ни выдохнуть от их плотного запаха даже без боли под ребром. А уж с ней, так и вовсе крах. Но стоять в толпе было легче, чем подышать дома. Никто не умирает на остановке в ожидании автобуса. А если и умирает, то становится звездой вечернего выпуска новостей на местном ТВ. Чем не славная кончина для той, которая большего не заслужила?

Нина подождала, пока двери автобуса разъедутся, и двинулась вслед за толпой. Хотя можно было просто расслабиться – поток чужих тел и сам прекрасно бы справился. На ногу Нине наступила какая-то дородная старушенция с белесой химией на голове, другая тетка, тонкая, как швабра, в блестящем пухане с меховыми висюльками, уперлась локтем Нине между ребер; боль с жадностью ответила на ее прикосновение. Баба не почувствовала, а Нина тихонько взвыла.

Сердце сбивалось через раз, то распирая ребра, то скукоживаясь в жалкий мякиш. Нина пробиравась между линиялых сидений к дальнему ряду у запотевшего окошка. В стороне от основной толпы, но только не последнее место, высокое, жаркое, где сидишь, раскорячившись, задрав ноги на уродский помост.

Нина все просчитала. Старуха рухнет на первое попавшееся сиденье, таким бы только примостить дородные телеса. Паренек пройдет подальше, может, займет соседнее место у окошка, ну да и хрен с ним, терпимо. Тощая тетка усядется рядом в пятом, чтобы не тянуло из двери. Вон та девица в искусственной шубке пойдет за пареньком, но передумает и сядет рядом с теткой. Знакомство в транспорте – не ее уровень, шубка пусть и плюшевая, но не из дешевых.

Дальше просто – те, кто с ребятишками, всегда усаживаются на передние места, чтобы не укачало. Так что вон та аккуратная старушка в дубленке с мехом посадит внучку, снимет с нее шапку, встряхнет помпон, чтобы не помять, и сама опустится рядом. Молчаливая парочка – она в пальто из букли и ботильонах на стриптизном каблуке, он в кирпичном пухане, – выберут двойные сиденья: вроде рядом, но можно и дальше пялиться в телефон. Предпоследнее займет мужик – кожаный плащ, шарф какой-то дурацкий в полосочку, наушники громоздкие, сам помятый, но трезвый. А место прямо за ним достанется Нине. Опась

в отвратительную мягкость, что высидели тысячи задниц, приголубить боль, послушать, как судорожно сбивает ритм захворавшее сердце и, может быть, прикорнуть, неловко свесив голову к груди.

Мужик и правда опустился на крайнее в правом ряду место. Мазнул по Нине взглядом, остановился на секунду, даже рот приоткрыл, будто хотел что-то сказать, но не решился. Буркнул себе под нос, отвел глаза – серые в крапинку. Нина пожала бы плечами, мол, ну и черт с тобой, нерешительным. Но движение это потянуло бы за собой сухую и горячую судорогу. Не дразни зверя, Нина, иначе сдохнешь прямо тут. Упадешь лицом в проход, разобьешь губу, испачкаешься, изорвешься. И сдохнешь некрасивая. Даже кружевное белье не спасет.

Доковыляла до самого последнего ряда, оперлась рукой на спинку, подышала сквозь зубы, примиряя тело с грядущей вспышкой. Это же нужно сесть, сделать усилие, а откуда силы-то на него? Сердце сжалось, помолчало, разжалось. Стук его глушил, закладывал уши. Нина сглотнула и медленно опустилась на сиденье. Смуглый паренек зыркнул с ленивым интересом, но тут же отвернулся к окну. Нина прислушалась к себе – сердце бухало тяжело, но ровно. Боль затаилась под лопаткой, почти нестрашная, надоедливая только. Можно терпеть.

Легкая надежда, что за полтора часа дороги в полусне странный приступ закончится, забрезжила на краешке сознания. Нина улыбнулась ей робко, как новому знакомому, которого и видишь-то первый раз, но уже рад ему, очень рад. Задремать, покачиваясь на поворотах, – глядишь, и пройдет все, глядишь, еще поживем.

– Простите! – Раздавшийся голос был напряженный, точно женский и какой-то глухой, будто сдавленный.

Нина уже откинулась затылком на спинку, закрыла глаза, блаженно вытянула ноги, готовясь к дорожному сну. Голос ее не волновал.

– Простите! – прозвучало еще раз.

Нине было плевать. Она ни на кого не держала обиды, потому никого и не прощала.

– Извините, пожалуйста! – Легкое прикосновение к плечу пронеслось по телу, дошло до лопаток и разорвалось там гранатой.

Осколки впились в развороченную грудь, грядущая рвота загорчила на языке. Нина схватила воздух губами, но проглотить его не смогла, так и застыла с распахнутым, как у сумасшедшей, ртом.

– Ой, я вас напугала? – Обладательница нежно-розового комбинезона и живота в форме шара смотрела на Нину ангельскими глазками. – Извините, пожалуйста, вы не могли бы... – Она сбилась. – Мне место уступить?

В эту же секунду автобус дернулся и поехал. Девушка охнула, схватилась за спинку соседнего сиденья, нерешительно улыбнулась Нине. Нину передернуло. Тупая сука. Тупая сука. С ее налитыми щечками, с ее пушистыми ресничками, с варежками белыми. Ну кто надевает белые варежки в автобус? Какой идиоткой нужно быть? Или это протест? Знак, что ты лучше, чище, краше нас, серых, забитых ногами собственных жизней? Сука. Тупая беременная сука.

– Что? – процедила сквозь зубы.

– Место, – улыбаясь, повторила девушка.

Нина обернулась, поглядела на пустые сиденья последнего высокого ряда.

– Там свободно. – Кивнула, сморщилась от острого укола в груди и закрыла глаза.

– Мне там высоко. – Девушка уходить не собиралась, покачивалась в такт движению автобуса, смотрела на Нину просяще, жалобно, прикрывала живот свободной рукой.

Сука.

На них уже глазели. Сухая бабка с висюльками нахмурила белесые бровки, сжала губы в козью попку, но встреть пока не спешила. Ждала. Девица в искусственном плюше хлопала нарощенными ресницами, смотрела на Нину с гадливым интересом, ожидала развязку. Даже паренек, притихший у окна, кажется, подался вперед, прислушиваясь. Нина не оборачивалась



на него, но чувствовала взгляд. Ей стало жарко. Она расстегнула верхнюю пуговицу пальто, повела плечом, устраивая боль поудобнее, сказала равнодушно:

– Меня укачивает, я туда не сяду. – И отвернулась, мол, разговор окончен, всего хорошего.

Только девушка знаков не улавливала. Так и продолжала стоять, уставившись на Нину.

– Мне высоко там очень, – тупо повторила она. – С животом, понимаете? – И снова улыбнулась – легко так, широко, беззащитно.

– Да Господи Боже! – шумно выдохнула Нина, с ужасом понимая, что ее понесло. – А я тебе что? Что я тебе? На руки тебя взять? На колени посадить?

Сама от себя не ожидала. Никогда еще не участвовала в таких скандалах. Фыркала презрительно, не базарная же баба. А тут гляди-ка, орет на стоящую перед ней беременную девушку, да что там, девчонку почти, кипит вся от злости, плюется едкими словами, стыдоба-то какая!

Девушка попятилась, некрасиво сморщилась, вот-вот заплачет.

– Вы чего кричите-то? – пролепетала, отерла личико. – Что я вам сделала?

Нина раскрыла рот, чтобы ответить, но не нашлась. Черт.

Теперь на них смотрел весь автобус. Народ оборачивался, смерял любопытными взглядами, горел праведным осуждением. И те, кто ехал с начальной остановки, и те, кто зашел вместе с Ниной, – все они стали частью этой отвратительной сцены. Нина почувствовала, как пылает лицо. Все тело пульсировало жаром. Боль привольно разлилась в нем широким потоком, как речка в апреле. Нина отвернулась от плачущей девицы и с вызовом уставилась на смотревших. Пробежала по лицам – вон сколько мужиков, чего они не уступают? Чего смотрят, святоши чертовы!

Ей же плохо! Неужели они не видят, что она умирает? Что физически не может встать сейчас, пройти три шага и упасть на неудобное высокое сиденье? Неужели для всеобщей жалости нужно что-то зримое? Живот там, костыли, кровоточащая рана. Почему они смотрят, но не видят? Почему так легко осуждают ее, не ведая о боли? О сухой печке в сердце. О предчувствии скорого финала этого гребаного существования.

– Вот, садитесь. – Мужик в полосатом шарфе не смотрел на Нину, он вообще ни на кого не смотрел, просто поднялся со своего места, схватил розовый локоток девицы и потащил ее к себе. – Давайте-давайте, присаживайтесь, вот так.

Девица осторожно опустилась на сиденье – покрасневшая, с опухшим носиком, она была отвратительно красивой. Самой красивой во всем автобусе. А может, и в городе. Мужик посмотрел на нее участливо, поднял оброненную варежку, отряхнул, осторожно положил на обтянутое розовым колено и двинулся по проходу к Нине. Та равнодушно наблюдала за тем, как он приближается. Боль стала похожа на тугий пояс. Португеею даже. Начинаясь под лопаткой, она делала круг по Нининому телу и замыкалась под той же лопаткой. Внахлест. Невыносимо.

Мужик остановился перед Ниной, глаза, серые в крапинку, смотрели с осуждением.

– Что же вы так, девушка?..

Автобус со скрипом начал торможение, мужик зашатался, длинный плащ распахнулся. На миг Нине показалось, что мужик под ним абсолютно голый. Как в дурацкой истории, которая, давно уже стала анекдотичной, а не страшной. Старый парк, густые кусты, странный дядечка, высказывающий на тропинку. Но мужик был одет. Растянутый свитер, потертые брюки, ботинки высокие. Нина успела заметить, как неловко он стоит – одна нога согнута в колене, чтобы держать равновесие, а вторая прямая, как палка. Автобус остановился, мужик выпрямился, покачал головой.

– Уступили бы, и дело с концом... Там же свободно, а она в положении...

Наверное, он был хорошим человеком. Чуток помятый жизнью, но сохранивший советскую еще закалку. Справедливый, честный. Немного пьющий, много рефлексирующий. Шарф только дурацкий.

– Пошел на хер, – процедила Нина, потому что ничего этот хороший мужик не знал, потому что боли ее, сухой и горячей, он не чувствовал.

Встала одним рывком, толкнула его в плечо – тот покачнулся, но устоял – шагнула к высоким сиденьям, поднялась на помост и рухнула на крайнее, всем видом показывая, как глубоко ей насрать на всех и каждого в этом автобусе.

Мужик хмыкнул и опустил на ее место. Седеющий затылок теперь осуждающе маячил перед глазами.

Еще десять секунд Нина сидела с отсутствующим видом и абсолютно прямой спиной – знала, что мерзкая старуха с меховыми висюльками смотрит на нее, жадно выискивая следы раскаяния. На девятый счет Нина услышала шелест ее пуховика – бабка отвернулась. Ну слава Богу. Воздух вышел из Нины, как из прохудившегося шарика. Сердце стало большим-большим, язык – тяжелым-тяжелым, странно обмерла, онемела вся левая сторона.

Сидеть было невыносимо: колени поджаты к животу, ботинки стоят на высоком коробе, что торчит из-под сиденья весь в грязных разводах.

Умирать здесь, подпрыгивая на колдобинах, было еще хуже, чем на остановке у дома. Тело завалится в сторону, и до конечной никто и не поймет, что она умерла. Водитель грубо схватит ее за плечо, ругнется, подумает, вот, блин, опять нажралась дамочка какая-то, как бы не набледала еще. Станет ее трясти, кричать, а потом поймет, что дамочка-то дохлая. Отпустит ее плечо, вытрет ладонь о штанину и позвонит в скорую.

Так себе история.

Нина поняла, что плачет, когда слезы уже вовсю катились по щекам и подбородку, затекали в рот, смывали тональник и мутными каплями падали на лацканы пальто. Глухая злоба, помноженная на обиду и жалость к себе оказалась ядреным коктейлем: пить такой стоило одним рывком, раз – и нету. А Нина все пробовала его на язык, морщилась, цокала, страдала, делая осторожные глотки, а те разъедали внутренности, добавляя боли лишних очков в игре, которую Нина и так уже проиграла.

Чертов автобус. Пропади ты пропадом на своем триста сорок девятом маршруте. Провались ты под землю. Перевернись на повороте. Взорвись, утони, заглохни, в конце-то концов! Тварь бессердечная – ты и все твои пассажиры.

Если бы Нина могла, то воспламенилась бы в своей бессильной ярости. Подожгла бы собой линиящую обивку кресла, разрослась бы огнем по проходу, вцепилась бы в надменные равнодушные лица, заставила бы их таять, как воск, заставила бы их верещать, завывая, захлебываясь слезами. Она бы обратила их в серый прах. Но Нина не была огнем, а только усталой бабой, подышающей от боли.

– За проезд передавайте! – приглушенный перегородкой голос водителя вырвал Нину из дремы, в которую она успела упасть лицом вниз, как в омут.

По рядам пробежала волна. Кто-то закопошился в кармане, кто-то звякнул замком сумки, кто-то разжал потную ладошку, а в ней – подготовленная оплата. Мелкой монеткой, без сдачи.

– Сколько там, не подскажите?

– Семьдесят шесть до метро.

– А в том месяце меньше было!

– Так инфляция!

– А до Нового городка сколько будет?

– Пятьдесят девять.

Вмиг они стали единым организмом. Переговаривались, сетовали на дороговизну, тянули монетки по рядам, передавали друг другу, улыбались, хмурились, задавали вопросы и тут же

получали ответы. Было в этом что-то неправильное. Страшное. Многорукое, многоголосое чудище, сидящее сразу на всех местах, едущее сразу на все остановки. Все они и Нина – одна против всех них.

– Передавать будете? – спросил мужик, поворачиваясь, будто ничего и не случилось.

С языка уже почти сорвалось что-то гадкое, но в сердце кольнуло особенно сильно, отдавалось под мышкой и запекло там пожарищем. Острота застряла в горле, Нина засунула руку в карман, нащупала столярник.

Мужик протянул ладонь и смотрел выжидательно. В желтом свете фонарей он выглядел потрепанным. Но Нине не было его жаль. Она его ненавидела. Остро и отчаянно, будто знала сто лет, и все сто лет он предавал ее, истязал и мучил. А теперь вот разочарованно уставился, как на провинившуюся девочку, мол, ну как же так, милая, ты же вот этим ртом маму при встрече целуешь, а бранишься. Нехорошо.

– Может, мне за вас заплатить?

Мужик не насмехался. Он правда предложил ей оплатить сраные семьдесят шесть рублей до метро, будто она бомжиха какая-то. Будто в ней изъян, а он, молодец такой, его разглядел и теперь жалеет грубиянку, а не злится на нее. Будто он понял ее боль и потому сочувствовал. Будто это вообще возможно.

Нина вытащила из кармана столярник, хрустнула перед носом мужика.

– Сдачи не надо. – И пожалела, что в кармане не было пятидесятирублевой.

Мужик хмыкнул, осторожно выудил из ее руки бумажку. На мгновение их пальцы встретились. Боль, опоясывающая Нину так крепко, как ни один любимый еще не обнимал, электрическим разрядом пронеслась по позвоночнику. Нина выгнула спину, изо всех сил вцепилась зубами в щеку, чтобы не закричать. Уставилась на мужика стеклянными глазами – все равно ничего не видно, только цветные пятна расползаются по черному полотну.

Мужик вопросительно поднял бровь, но тут же сник, уменьшился даже, сжал столярник в ладони и отвернулся. А Нина откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и позволила слезам спокойно течь вниз, размывая косметику, пачкая лацканы. Нине было глубоко плевать и на макияж, и на пальто. Кажется, она разучилась дышать.

### **Петров**

День начался хорошо. Петров открыл глаза и долго смотрел на потолок. Потолок был старый, в желтых разводах, но если смотреть на него долго, особенно в полутьме раннего утра, то разводы потихоньку превращаются в симпатичный орнамент. Опять же, если не двигаться, то и диван не скрипит пружинами, и простыня не шуршит синтетикой, и даже пылью почти не пахнет, если глубоко не вдыхать.

Поэтому Петров лежал смирно, дышал в половину вдоха и, кажется, был счастлив. Конечно, не орнаменту на дурацком потолке. Просто в это утро у Петрова ничего не болело. Вот совершенно.

Это мгновение не-боли могло закончиться так же внезапно, как началось. Нужно было успеть насладиться им. Петров опустил веки, весь обращаясь вовнутрь своего истерзанного тела, и начал считать. У него не болела голова, не стучало в висках, не стягивало затылок – это раз, у него не драло в горле, не сводило плечи, не ломало в руках – это два, и в груди у него тоже ничего не ухало, и в животе не урчало, и в паху не жгло от растущего простатита, и даже правая нога не зудела – это все Петров отнес на счет три. Полежал еще чуток, собираясь с мыслями, и устремился с проверкой к ноге левой.

Обычно именно там и гнездилась постоянная боль, холодная и склизкая, как раздавленный дождевой червь, только зубастый и прожорливый. Начиналась она в бедре, бежала вниз к колену, там становясь совсем уж нестерпимой, чтобы вцепиться голодной пастью в лодыжку, оттрапезничать щиколоткой, обглодать пальцы, закусить пяткой. В этом скрывалась главная

несправедливость всей жизни Петрова, потому что ниже левого колена у него ничего не было. Ни лодыжки, ни щиколотки, ни пальцев, и уж конечно не было пятки. Пустота. Культя, тошнотворно аккуратная, хоть оттиски ею ставь.

Но сегодня нога не подвела. Она даже не прикидывалась лежавшей под одеялом, даже не чесалась между пальцами, требуя к себе внимания. С левой стороны Петров заканчивался коленом, как и должен был. Никаких фантомных болей. Тишина и благодать.

Петров мысленно поблагодарил потолок за компанию, повозился, перекатываясь на бок, и осторожно опустил правую ступню на пол. Сразу попал в тапочку. Костыли тоже оказались рядом – незачем сразу мучиться, натягивать тесный протез, можно и так, по старинке.

Допрыгал до ванной, умылся холодной водой – не потому что горячую отключили, а чтобы взбодриться. Вышел в кухню, щелкнул телик, улыбнулся глянцевої девице, которая жеманно убеждала народ, что утро нынче доброе. Сегодня Петров был с ней согласен. Утро вышло что надо.

Скоренько пожарил два яйца, отрезал добрый кусок колбасы, хлеба, чай заварил с двумя кусками сахара. Сел за стол и с чувством позавтракал. На душе было спокойно и хорошо. Даже культя, выглядывавшая из-под домашнего халата, не расстраивала. Ну что теперь поделаешь? Да и сколько лет уже прошло? Петров задумался. А правда, сколько?

Наталка ушла через год после того, как культя с Петровым породнилась, дочке тогда было семь. Сейчас Фиме четырнадцатый идет. Выходит, шесть лет как инвалид. Вот же время летит! Петров почесал колючий подбородок, поднялся с табурета, оперся на костыли и двинул бриться.

Из мутного зеркала на него смотрел потасканный седеющий мужик. А ему всего-то пятьдесят восемь, говорят, к этому возрасту мужчина только входит в силу. Петров подмигнул отражению, мол, мы еще ого-го с тобой, повоюем. Лишь бы не болело ничего.

Оттерся от пены – полотенце было затхлое, влажное. Петров кинул его в стиралку. Оттуда грустно глядели скомканные носки вперемешку с трусами. Надо было запустить машинку, да время уже поджимало. Ну ничего, вечером.

Петров сам себе удивился. Давно он уже не строил планов. Жил, как живет. Как придется даже. Попивал себе тихонечко, то с соседом, то один. Злился на несправедливость, строил гневные письма в бывшую свою строительную контору. Все хотел, чтобы о нем вспомнили, извинились, пособие какое-нибудь выплатили. Но бывшие коллеги сочувственно вздыхали в трубку, а после и вовсе перестали отвечать. Начальство же с того раза поменялось, поджало хвосты, расползлось по углам. Никто не хотел отвечать, никто не хотел извиняться.

Ну, рухнула на инженера-строителя несущая стена пятого этажа – так то не халатность начальника стройки, нет, это небрежность пострадавшего. Мы предупреждали, что зона опасная, вот, надбавки были за вредность. А коль случится что, то вся ответственность на работнике. Даже бумагу соответствующую имеем, с подписью гражданина Петрова С. В.

Что там Петров подписывал, он и не помнил. Бумаг при устройстве была гора, кто ж их читает? Да и отработал он добрых девять лет, честно отработал, изо всех сил. А они вон как с ним. Задним числом рассчитали, бросили жене жалкую подачку, выздоравливайте, мол. А что раздавленную ногу отрезать пришлось, так нам жаль, дорогой Петров С. В. Но что поделаешь, жизнь есть жизнь!

Как из больницы его привезли, так Петров и запил. Год пил без продыху. Орал только, чтобы Наталка ему за водкой бегала. Та вначале жалела его, плакала, сама наливала, по голове гладила. А потом себя ей стало жалче, а дочку их маленькую – так вообще. Собрала вещички и уехала. Живи как хочешь, алкоголик проклятый!

Некому стало за водкой бегать. Пришлось самому. А для того – на костылях до больницы доковылять да получить там квоту на протез. Пока анализы сдавал, пока бумажки собирал, пить сил не осталось. Так и зажил, попивая, но не спиваясь. Каждый день деля с болью пополам.

А тут проснулся. И не болит.

Пока собрался, культю перевязал, в протез засунул, закрепил, ждал – вот-вот заболит. Пока одевался – брюки старые, но без дырок, свитер поношенный, но чистый, плащ кожаный в пол, чтобы протеза не видно, ботинки специальные – ортопедические – все прислушивался к боли: объявится, нет? Пока вышел из дома, пока в автобус втиснулся, все ждал – сейчас заболит. Вот сейчас точно. Не заболело. Даже место себе нашел удобное. Всего-то доехать до областного травматолога, показать ему культю: на вот, доктор, смотри, не выросла за год новая, сам расстроился. Доктор бумажку об инвалидности продлит, и Петров на двенадцать месяцев свободен. Вот тогда он пойдет, снимет с карточки пенсию, купит большую куклу и отправится к дочери. Давно он ее не видел. Все откладывал до лучших времен. А какие они тогда, эти лучшие времена, если не как сегодня?

Автобус тронулся от остановки, зафырчал и поехал. Триста сорок девятый маршрут был долгим и тоскливым. Из области в центр. Едут-едут несчастные замкадыши, все надеются, что заработают на хорошую жизнь. Только жизнь эту они в дороге проводят. Петров сам так ездил, каждый день по три часа. А теперь, без ноги и без работы, с ужасом вспоминал вставания эти ранние, дорогу эту мерзкую, потную, муторную. Казалось бы, что сравнивать: там здоровый был, семейный, а тут – инвалид и пьяница. Да только тишину, в которой проходили его дни, Петров успел полюбить. Особенно когда в тишине ничего не болело.

Среди людей тишины не отыщешь. Еще отъехать не успели, а кто-то уже собачится, требует уступить место.

– Да Господи Боже! – Голос был каким-то придушенным, но отчаянно яростным, еще чуть-чуть и сорвется на крик. – А я тебе что? Что я тебе? На руки тебя взять? На колени посадить?

Вот так же начинала скандалы Наталка, когда Петров лежал на кафеде в туалете весь в рвоте. И если сдавленный злобой голос еще можно было терпеть, то крик – нет. От него тут же начинало пульсировать в висках и невыносимо жечь культю.

Петров знал точно: как только чужая женщина закричит, тело его вспомнит женщину родную. Рефлексом собаки Павлова на крик выделится боль. И прекрасный день станет днем ужасным. Очередным ужасным днем.

– Вот, садитесь. – Петров завозился, встал, не глядя схватил стоявшую в проходе девушку, подтащил к своему месту и усадил. – Давайте-давайте, присаживайтесь, вот так.

Та глупо пялилась на него, моргая намокшими ресницами. Петров наконец посмотрел на спасенную им и понял – мало того, что наряжена в розовое, так еще и глубоко беременная. Надо же, а! И кто ж ей посмел возразить? Петров развернулся, чуть было не наступил на белоснежную варежку, поднял ее, тихонько радуясь собственному всемогуществу, отдал владелице и пошел по проходу в поисках места.

Виновницу ссоры Петров легко нашел среди остальных. Он ее заметил еще на остановке – по отчаянным глазам. Такие Петров видел каждое утро в зеркале. Но разглядеть взгляд загнанного зверька на лице молодой девушки, у которой вся жизнь еще впереди, было удивительно. Коротко стриженная, в мешковатом пальто, она тяжело дышала, не замечая, как по щекам разливается болезненный жар. Ей, определенно, было не по себе, но она продолжала держать надменную мину.

Петров хотел пройти мимо, но потерял равновесие, покачнулся, неловко оперся на протез и застыл, ожидая боль. Боль не пришла. Только сердце бухало от страха. Петров поправил распахнувшийся плащ – он теперь всегда носил что-то длинное, скрывающее инвалидность, – и понял, что до сих пор смотрит на девушку. Стало неловко.

– Уступили бы, и дело с концом... Там же свободно, а она в положении... – проговорил он, просто чтобы хоть что-то сказать.

Сам он давно привык во всем искать компромисс. Так легче и спокойнее. Когда сил с трудом хватает, чтобы подняться с кровати, хочешь-не хочешь, а научишься их беречь. Загнанные глаза девицы наполнились злыми слезами в одно мгновение. Просто раз – и полны до краев. Губы задрожали, вот-вот зарыдает в голос.

– Пошел на хер.

Вместо плача из нее вырвалось ругательство, и Петров ее тут же зауважал. Он даже улыбнуться ей хотел понимающе, но девица вскочила, оттолкнула его и бросила худое свое тельце на крайнее сиденье последнего ряда. Петров такие ненавидел – слишком высокие, мучительно неудобные. Надо же, уступил беременной место, а сам и не подумал, как сидеть будет. А девица подумала. Видать, разглядела под плащом безноготь, вот и села мучиться вместо него.

Опускаясь на ее место, Петров улыбался. Он успел задремать, убаюканный своей не болью, когда весь автобус завозился, задрезжал мелочью, загомонил, обсуждая цены, маршруты и инфляцию.

Конечно, Петров мог потащиться по проходу, показать водителю социальную карточку и ехать себе бесплатно. Обычно он так и делал. Но сегодня ему хотелось оплатить полную стоимость проезда, будто никакой инвалидности не было. Боли же нет, значит, и говорить не о чем. Петров с удовольствием залез в скрипучий карман плаща, достал из него кошелек, нашел сотку, вынул, разгладил в ладони и уже было потянулся передать вперед, когда вспомнил про девицу, сидевшую позади. Разумеется, теперь ни одна бабка ей руки не подаст. Что ж бедняжке, вставать с дурацкого сиденья и переться к водителю?

Петров обернулся, посмотрел на скорчившееся тщедушное тельце, на испачканное белыми разводами пальто, на заплаканные глаза, и не нашел, чем девочку поддержать. Просто ободряюще улыбнулся, мол, все в порядке, ничего, не бери в голову.

– Передавать будете? – вопрос прозвучал по-свойски, как Петров и хотел.

Но вышло не очень, девушка загнанно глянула на него и начала рыться в кармане. Вид у нее был несчастный, как у человека, попавшего в плен к самому плохому дню. Насколько плохим бывает день, Петров знал не понаслышке. Тут можно не только без кошелька выйти из дома – без трусов выбежишь, только бы не свихнуться в четырех стенах.

– Может, мне за вас заплатить? – робко предложил он, чувствуя, как разливается в нем смущение.

Горячее, терпкое, забытое чувство. Теперь он уже вовсю улыбался незнакомке. Сочувственно, понимающе. Как своей. Решил, что дело сделано, контакт налажен, теперь они, может, и разговоятся, до конечной еще минут сорок езды. Вот это будет здорово! Вот это будет хорошо! Давно уже Петров не разговаривал в транспорте с симпатичными девушками. А как совпало-то, что и побрился с утра, и свитер свежий надел. Да только лицо, отвыкшее от радости, выдало его намерения с потрохами. Девушка зыркнула на него совсем уж испуганно. Протянула купюру и тихонько добавила:

– Сдачи не надо.

Петров чуть в голос не застонал от разочарования. Старый дурак, а! Надумал себе всякого, а девочка-то испугалась. Вот же нелепица! Вот же несуразица! Только бы не показать своего отчаяния теперь, только бы сдержаться. Петров понимающе улыбнулся, аккуратно выудил из мягких влажных пальчиков бумажку. Девушка смотрела на него настороженно, но как-то смазанно, будто не могла сфокусироваться. Всем видом своим она говорила, что Петров ей неприятен. Даже отстранилась, насколько позволяло расстояние между креслами.

Петров хотел ей что-нибудь сказать, но момент был упущен. Потому что в следующий же миг, когда его натертые костылями пальцы оторвались от ее нежной ручки, случилось то, что должно было произойти уже давно.

Боль вернулась.



Она тяжелой водой наполнила голову, запульсировала в висках, полилась вниз по горлу, заломила плечи, скрутила судорогой пальцы, даже купюры заскрипели. Но это было только начало, уж Петров это точно знал. Голова там, руки, плечи – это только «раз». На «два» боль разлилась по телу. И в груди, и в животе, и в паху. Загорочалась, хлынула в правую ногу, опутала ее липкой своей паутиной. Петров успел сделать один короткий вдох и сцепить зубы, а потом наступило «три». Оголодавшая утренней разлукой боль вгрызлась в левую ногу. Холодная, как предсмертный пот, она скрутила бедро, опустилась к колену, чтобы наконец отыскать культю. Там-то боль и стала невыносимой. Петров взвыл бы, да дух перехватило. Как приговоренный к смерти, он не пытался сопротивляться, а просто ждал, когда все свершится. Боль глода невидимые кости, сгрызала с них несуществующее мясо и сухожилия, хрустела суставами, от которых шесть лет как избавились в больнице согласно правилам утилизации биоотходов.

Петров не услышал – угадал, что сидевший сбоку от него парниша задает ему вопрос, понял, о чем речь, и сунул мальчику в руку деньги. Их пальцы встретились: шершавые – петровские, сухие и горячие – мальчика. Боль взвилась в Петрове, как вечный огонь на параде девятого мая. Петров ничего не видел, ничего не слышал, только ее – вечную свою боль. Боль, которой не было конца.

Кажется, в этот миг Петров разучился дышать.

### **Ильдар**

Ильдар не спал всю ночь. Метался в постели, вскакивал, открывал форточку, жадно глотал холодный сырой воздух, валился на кровать, морщился от визга пружин и замирал в ожидании сна. Сон не приходил. Ильдар стаскивал с себя вымокшую в поту майку, бросал на пол, путался в простыне, чертыхался сквозь зубы. Сна не было ни в одном глазу.

Стоило опустить веки, как перед ними вспыхивал экран телефона.

«Дарик, нам нужно поговорить. Набери», – писала Юля в полдень вчерашнего дня, а он сидел на паре и не мог ей позвонить.

«Подними трубку!» – Второе сообщение пришло в полвторого, он как раз дописывал конспект, а когда дописал и вышел из аудитории, то прочитал их подряд, вместе с третьим.

«У меня задержка пятый день. И две полоски».

Юля-Юля-Юлечка... Светловолосая, маленькая, как девочка с советской открытки. Глазки голубые, носик вздернутый. Конфетка, лапочка, кошечка. На вкус сладкая, на ощупь мягкая. Покрывается румянцем, когда кончает, ойкает и смеется, счастливая, будто школьница, получившая пятерку за контрольную по тригонометрии.

Они даже познакомились на встрече выпускников. Ильдар столкнулся с приятелем по курсам иняза где-то в центре, а тот потащил его за компанию в бар, чтобы выпить и поглазеть на толстеющих одноклассниц разлива двадцать-десять. Вечер был дождливый, следующий день – выходной. Ильдар согласился, почти не думая, развлечения ради. Вошел в тесный прокуранный зал и сразу увидел ее.

Платье цвета сухого красного, локоны по спине аккуратными завитками. Говорила что-то подружке и сама смеялась, не дожидаясь реакции с другой стороны. Бывают люди, которые сияют особенным светом. Изнутри сияют. Освещая мир вокруг себя, как абажур из-под бумажного плафона – нежно-нежно, робко и тепло.

Юля была такой. В тот момент Ильдар не знал ни имени ее, ни возраста, ни родинки, что она прятала за правой мочкой, как горошинку под матрасом. Он просто уловил ее свет и поспешил на него. Бездумно, как оглушенный небесной вспышкой.

Приятель, Вадим, кажется, заметил его рассеянный взгляд первым. Хохотнул, прописал локтем между ребрами.

– Ты что поплыл-то? Сухомлину приметил? Она у нас последняя целочка, никому не дала до выпуска, видать, принца ждет. – Заржал еще громче и пошел к стойке заказывать бухло.

Но для Ильдара его больше не было. Не существовало просто. Весь мир сузился вокруг маленькой светловолосой девочки в бордовом платье. Она все болтала, смеялась, поглядывая по сторонам, видимо, ища знакомые лица. По Вадиму она скользнула скучающим взглядом, даже кивком его не удостоила. Ильдар хмыкнул: теперь понятно, откуда «последняя целочка» – Вадиму светлая девочка не дала, вот он и злится.

А кто бы не злился? Она была по-настоящему хороша. Точеная, хрупкая, теплая. Где взять решимости, чтобы подойти? Ильдар застыл на полпути к бару, чувствуя, как тонет. Даже воздух судорожно схватил губами, в этот-то момент девочка его и заметила. Улыбнулась широко-широко, как старому приятелю. По всем правилам эта улыбка должна была окончательно выбить из Ильдара дух. Но его внезапно отпустило. Стало спокойно и хорошо.

Правильно стало. Как и должно быть. Светлая девочка должна улыбаться ему при встрече. А он должен идти к ней через прокуренный зал, лавируя между другими, чужими людьми. Идти и улыбаться в ответ.

Он дошел, встал рядом. Уставился на нее, даже не пытаясь что-то сказать. Просто смотрел, как она румянится под его взглядом.

– Привет, – прошептала она, первый раз проигрывая ему. – Меня Юля зовут.

Ильдар кивнул, постучал по барной стойке и заказал ей еще вина.

В тот вечер они постоянно танцевали. Юля заливалась смехом, он молчал, первый раз жалея, что не курит. От ее тела рядом подкашивались ноги. Хотелось повалить ее на затоптанный пол, задрать платье, разорвать к чертям чулки и трахать-трахать-трахать, а потом сдохнуть от сотого по счету оргазма и щенячьего восторга, всеобъемлющего и полного. Хотелось подхватить ее осторожно, как китайскую вазу, унести прочь из бара куда-нибудь, где море целуется с небом, а луна рисует на волнах серебряную дорожку. И тоже сдохнуть, только от нежности и счастья.

А лучше все это сразу, одновременно.

Но Ильдар просто подливал ей вина, кивал в ответ на пьяненькие взгляды и тащил танцевать – в этом он нашел компромисс для обоих желаний.

Вадим подошел к нему дважды. В первый – сально посмеяться. И был послан. Второй – чтобы буркнуть что-то, набывчившись. И был послан. Третьего раза не случилось. А может, Ильдар не заметил. К полуночи он уже плохо сообщал.

Потому что в полночь Юля попросилась домой. Как Золушка, обеспокоенная скорым обращением в тыкву, она жалобно сморщилась и пролепетала ему на ухо:

– Я папе обещала.

От такого заявления обычно наступает скоропостижное похмелье, но Ильдар посмотрел в ее пьяные глаза и кивнул. Заказал кофе, вызвал такси, усадил в него Юлю, сунул водиле деньги и с жалостью захлопнул дверцу, уверенный, что на этом прекрасная их встреча закончится.

В жарком танцевальном вертепе они даже не успели толком поцеловаться. А на трезвую голову такие светлые девочки, как Юля, не целуются с парнями по имени Ильдар.

Он приехал домой, открыл дверь своим ключом, бесшумно прошел через комнату родителей, не включил свет в своей и просто рухнул на кровать, терзаемый сожалениями сразу всех порядков.

Юля позвонила ближе к вечеру. Первый звонок с незнакомого номера он проигнорировал, на второй осторожно ответил, ожидая услышать вежливое приветствие от сотрудника банка или косметического салона. Звонила она.

– Привет. – Голос был чуть хриплый, простуженный. – Это я.

И он тут же понял, кто. И она поняла, что он понял. Все сошлось.

– Я даже не знаю, как тебя зовут, – продолжила Юля и засмеялась. – Представляешь, как глупо?

– А как ты?..

Хотя спрашивать нужно было о другом, говорить о другом, а лучше – орать от счастья, пританцовывая, но человек обычно херит все лучшие моменты своей жизни. Правда, остается шанс, что так момент станет еще лучше.

– Я Вадику написала, спросила, с кем он вчера был. Я же видела, что вы вместе заходили...

– А он? – Целый ящик коньяка – вот что Ильдар теперь должен был этому придурку.

– А он номер прислал. – Юля совсем смутилась, но добавила: – Мол, это тебе в дар... Дурак такой, правда? Ладно, в подарок, но в дар-то почему?..

Даром, Дарчиком, Дариком она его и звала. Даже родителям представила так:

– Ма, па, это Дар. Мой парень.

Он мялся в дверях, нелепый в этих выглаженных песочных брюках, в этом джемпере, который, кажется, сел при стирке. А родители вежливо улыбались. Собственно, с ними проблем не возникло, хотя казалось бы. Она – светлая девочка, медалистка, будущий филолог, голубые глазки, нежная кожа цвета сливок. И он – смуглый, весь иссушенный памятью крови, которую сколько ни разбавляй, а она все равно аукается то в разрезе глаз, то в щетине, что начинает расти сразу после бритья, виднеется в хищном оскале, приходящем на смену улыбке, стоит перестать контролировать ее.

Но Юлькины родители понимающе кивали, уезжая на дачу по выходным. Отец жал руку при встрече, мама хлопала по локтю, мол, здравствуй-здравствуй. Юля светилась от гордости, поглядывая на них, стоявших рядом.

Проблем со своими предками Ильдар не ожидал. Но они появились. Не при Юльке, конечно – для нее был разыгран спектакль восточного радушия. Мало что плов руками не ели. Но стоило двери за ней закрыться, как мать поджала губы и ушла греметь тарелками в кухне. Отец кашлянул раз-другой, рухнул на диван и выжидательно уставился на Ильдара.

У них в семье всегда так было. Мама делала вид, что она – покорная восточная женщина, хотя была русской, до смешного, до нелепого русской – с овальным лицом, светлыми тонкими волосами и конопушками. Отцу приходилось отыгрывать роль сурового хозяина, хотя он был преступно мягким. Повзрослев, Ильдар нашел подходящее определение – мягкотелый. Рыхлый, с нависающим животом, даже взгляд, и тот заплывший.

Больше остального Ильдар боялся однажды стать им – своим отцом. Осесть в Подмоскowie, вкалывать в курьерской службе – от водилы до координатора, от координатора до руководителя. Унылый офис, грязные машины, тухнувшие грузы. А дома – тупой блеск телевизора, жирная еда, пиво по вечерам субботы. Ильдару хотелось спросить отца, как же он увяз в этом, ведь был же когда-то молодым и ретивым, ведь хотел же чего-то. Ну ведь хотел?

В тот вечер, закрыв за Юлей дверь, Ильдар не был готов услышать хлесткую правду, но услышал.

– Так, сын... – побряхтел, собрался с мыслями отец. – Девка она красивая, дело молодое.

Ильдар залился глупейшей краской, будто не студент четвертого курса, а пацаненок с продленки.

– Нет, ты послушай. – Отец нахмурил густые брови и стал похож на торговца с овощебазы. – Главное, глупости не твори. Сам знаю, раз-раз, не успел, да и ладно. Не ладно. – Кашлянул, смущенный своим внезапным запалом. – Если залетит, никуда не денешься. От нее не денешься, от этого всего не денешься. Понял?

Их глаза встретились. Первый раз Ильдар понял, как похожи они с отцом и как не похожи. Восточная кровь, размытая матерью, сделала Ильдара куда красивее отца, но суть было не спрятать даже этой горячей смесью. Поверни дорожка не туда, и отцовское место на продавленном диване у вечно включенного телика станет принадлежать Ильдару. Пусть не в этом доме, пусть в другом, но он легко повторит этот путь. Несчастливый путь.

Конечно, в сердце звенела обида. Юля – она не такая, как мать. Да и признать себя плодом неудачного случая было совсем уж несладко. Но отцовские тоскливые глаза говорили куда красноречивей всех его юношеских обид. Потому Ильдар молча кивнул, обещая себе, что никаких осечек не будет.

Их и не было. Шел второй год спокойной жизни. Встречи, свидания, не слишком частый секс – чем реже, тем горячее, – кафешки, бары, танцы, переписки, звонки, легкие ссоры. Все как у всех. Ильдар заканчивал универ, в мае предстояло сдавать диплом по банковскому делу. Его потряхивало от предвкушения невероятной свободы выбора. Хороший вуз, достойные результаты, успешная практика. И Юля-Юля-Юлечка. Вся такая же светлая, смешливая. Она не давила, не требовала лишнего, даже не дулась никогда и уж точно не трепала нервы. Конечно, ей он в этом не признавался, но сам отлично понимал, что любит ее именно за эту ненапряжность. С Юлей всегда было просто.

До вчерашнего полудня.

Глупый вечер в конце того месяца. Он сидел в кафе у Юлькиного универа, пялился в ноут, редактировал третью главу диплома. Юлька опоздала, пришла взвинченная ссорой с куратором, что-то говорила, сама себя перебивая, а он не слушал. Злился даже, что она его отвлекала. Хотел уехать домой, но Юля совсем расклеилась, начала хлюпать, пришлось обнять ее, поцеловать в пахнущую шампунем макушку.

– Проводишь? – попросила она, когда наконец собрались по домам.

Ильдар чуть было не отказался, но слишком уж Юлька была печальной. Шли в молчании и очень быстро, будто кто-то за ними гнался. Мокрый октябрь. Ильдару стало жарко, он расстегнул куртку, Юля хваталась за него вспотевшей ладонью, и это немного раздражало, как с ребенком идешь, запыхавшимся от ходьбы.

Он вообще необъяснимо злился на нее весь вечер, хотя она была печальной и тихой. Наверное, Юля это почувствовала, потому и потащила его к себе. Они поднялись на пятый этаж в скрипучем лифте, зашли в квартиру, пустую, темную, и Юля с порога начала раздеваться.

– Только быстро, – прошептала она, проводя потной ладонью по его щеке. – Мама скоро с работы придет.

Это было очень нелепо. Ильдару и секса-то не хотелось, насколько его вообще может не хотеться. Но отказаться даже в голову не пришло. Конечно, он ответил на поцелуй, конечно, тут же завелся, конечно, начал ощупывать знакомое худое тело, конечно, встал у него, стоило ей застонать.

Они стянули обувь и куртки, прошмыгнули по коридору в Юлину комнату и рухнули на разложенный диван. Ильдар успел стянуть с нее тонкую блузку, просунуть руки под кружевной лифчик, стащить его и сжать пальцами тугие соски, когда в голове молнией пронеслось, что к встрече сегодняшней он не готов. Пачка презервативов закончилась в прошлый раз, новую он просто не успел купить, не рассчитывая, что перепадет так скоро. Таблетки Юля не пила, боялась, что заметит мама, как бы глупо ни звучало это, когда ты студентка третьего курса, а парня домой привела еще на первом. По этой же причине презиков в ее комнате не хранилось.

– погоди, – задыхаясь, отстранился Ильдар. – погоди-погоди...

Юля непонимающе вскинула на него глаза, чуть мутные, масляно блестящие от возбуждения.

– У меня с собой нет... – Он откинул голову на подушку и попытался восстановить дыхание. – Черт, а...

Юля нависала над ним, продолжая тереться бедрами о низ его живота. Джинсы стали нестерпимо тесными.

– Перестань, – попросил Ильдар, пытаясь спихнуть ее.

Юля закусила губу, медленно расстегнула пуговицы его рубашки, выгнулась, опуская свой плоский живот к его животу, свои маленькие груди ему на грудь.

– Давай без, – прошептала она и поцеловала ямочку между его ключиц.

– Нет. – Ильдар еще пытался сопротивляться, понимая, что проиграл.

Юлька никогда не брала на себя инициативу. Откликалась на его прикосновения, но как-то рассеянно, между делом, отдавая лишь для того, чтобы порадовать. То ли стресс на учебе, то ли скорый приход мамы, но в тот вечер она просто слетела с катушек. Ильдар не сумел ее образумить. Не смог заставить себя сделать это.

Кем нужно быть, чтобы остановить девушку, опускающуюся поцелуями от твоей шеи вниз к животу и дальше? Кем нужно быть, чтобы не позволить себе войти в нее, такую жаркую, такую жадную? Кем? Уж точно не Ильдаром.

Когда Юля, насквозь мокрая, слезла с него и рухнула рядом, он был готов расплакаться. Если бы мог, то умер бы прямо там, чтобы навсегда остаться в этом моменте наивысшей пустоты внутри и снаружи. Он почти заснул, но Юлька растормошила его, засуетилась, собирая вещи, раскиданные то тут, то там, и вытолкала за порог, неловко чмокнув на прощание в щеку, будто стесняясь произошедшего. От нее пахло сексом.

Ильдар думал об этом всю ночь. А утром Юля прислала ему сообщение.

«Вчера было жарко. На всякий случай выпила таблетку, не парься».

Смайлик с красными щечками выдал все ее смущение. Ильдар еще умилился, какая все-таки она милая у него. И забыл, напрочь забыл об этом.

А потом как обухом по голове: «У меня задержка пятый день. И две полоски».

Он знал, как должен поступить. Прямо из универса поехать к ней, обнять крепко, вдохнуть запах ее волос, утереть слезы, сказать, как любит, сказать, что они со всем разберутся. И все будет хорошо. Дальше – разговоры с родителями. С ее, с его. Потом все вместе. Нужно будет решить, когда им расписаться, где им жить после, а главное, на что.

Диплом сдавать через пять месяцев. Юлька уже будет на седьмом. Конечно, он сдаст и тут же выйдет на работу, первую попавшуюся. Не до выбора. А ведь планировал устроиться в Москве и переехать. Снять квартиру, может, взять кредит на первое время. Развернуться, в общем. Есть ли место для Юли в его прекрасном далеке, он не думал. Просто не нашел времени для этих мыслей. Все бы решилось само. Вот оно и решилось. Блядь.

Конечно, Ильдар ее любил. Нежно, даже трепетно. Но любовь эта не обязывала к вечности, поделенной на двоих. А вот маленькая жизнь, пятую неделю живущая в Юле, обязывала. Еще как. Обязывала к семье. К ипотеке. К скучной работе, вечной нехватке денег и развлечений. К телевизору, к вечерним ток-шоу и пиву по выходным. Это могла быть счастливая жизнь, только Ильдар ее не выбирал.

– Если залетит, никуда не денешься. От нее не денешься, от этого всего не денешься. Понял? – говорил ему мудрый папа.

– Перестань, – попросил Ильдар.

– Давай без, – уговаривала Юля.

Сука. Сука. Сука! Это она виновата, это она его заставила! Это она! Это она сделала! Это она разрушила всю их жизнь, которая и начаться-то еще не успела.

Ильдар метался на простынях, его душили ярость и страх, злость и вина. Стены сужались, потолок так и норовил задавить Ильдара под собой. Ему нечем было дышать, его сотрясал озноб, спина была липкой от холодного пота. Тошнота плескалась в желудке, горчила во рту.

Сука! Сука! Сука!

Вот они какие, бабы. Вот, что им нужно! Залететь, застолбить себе мужика, начать вить гнездо на камнях, чтобы потом всю жизнь требовать новых веток.

Теперь светлая девочка Юля виделась Ильдару опасной расчетливой бабой. Полтора года она прикидывалась овечкой, чтобы одним махом пришить его к себе, как жука прикрепляют булавкой к сукну.

В шесть ноль-ноль телефон завибрировал снова. Экран зажегся, рассекая темноту спящей комнаты. Ильдар потянулся к тумбочке, дрожащими пальцами нажал на квадрат сообщения.

«Дарик, мне очень страшно. Ответь, пожалуйста».

Когтистая лапа перехватила горло. Щеки запылали от стыда. Где-то там, недалеко от ревущего МКАДА, лежала на собранном диване Юлька, смотрела в слепое окно и глотала слезы. Что-то живое барахталось в ней, маленькое, невидимое глазу, но живое. Ильдар даже представить не мог, как жутко ей было сейчас, пока он тут захлебывается от жалости к загубленной своей судьбе.

Руки потянулись набрать эсэмэску.

«Маленькая моя, любимая, все будет хорошо, мы найдем выход...» – написал он и не отправил.

Рыхлый, безнадежно несчастный отец спал за стеной, распластавшись на полуторной тахте, как мертвый кит. Рядом с ним похрапывала мама, которая, наверное, была не счастливее его. И сам он, Ильдар, уже ступил на их путь тотального несчастья. Даже вторую ногу занес вот этим самым сообщением.

Нет. Нет. Нет!

Ему хотелось орать, биться о стены, крушить мебель. Ему хотелось вырваться из клетки, в которую загнала их Юлькина беспечность. В этот самый момент он окончательно и бесповоротно переложил всю вину за случившееся на ее тонкие плечики.

– Я же сказал тебе тогда, не надо! – беззвучно проговорил он в потолок. – Ты должна была хоть таблетку выпить! Дура!

Потолок молчал.

– У меня есть деньги, я переведу тебе, пока можно еще... избавься! – Последнее слово далось с трудом.

Потолок равнодушно белел.

– Я не готов! Я не могу! – почти жалобно зашептал Ильдар. – Мне и так будет сложно выбиться... А если семейный! Да кому я нужен с таким прицепом?

Потолок покачнулся, когда Ильдар вскочил на ноги. Последний аргумент стал решающим. Таким, как он, в Москве непросто. Обрусевших не берут в общины, не считают братьями, перед ними закрыты двери и тех, и других. Но если уж пробиваться, то налегке.

Ильдар натянул штаны и свитер, прикинул, во сколько отходит первый автобус, проскользнул мимо спящих родителей и выскочил в коридор. Обувался он в темноте, боясь зазвенеть ключами. Мать спала очень чутко. Но обошлось. Это показалось Ильдару хорошим знаком.

Уже подходя к остановке, он набрал-таки сообщение, аккуратно удалив прежний текст.

«Встретимся через час в Маке у метро».

Юля ответила сразу же.

«Хорошо».

Ильдар представил, как она гипнотизировала телефон, сжимая его во влажной ладошке. Стало тошно. Но он прогнал эти мысли прочь. В бой идут налегке. Его жизнь будет боем, который он выиграет. И уж потом наступит время для семьи и детей. Он же, по сути, не против детей. Просто все хорошо в свое время. Юля поспешила. Это ее ошибка, которую придется исправить. Как можно скорее.

В автобусе тут же началась давка, Ильдар шмыгнул по проходу, забился в угол у окна и притих. Теперь ему казалось, что все девушки кругом смотрят на него с голодным интересом. Оценивают его, заглядываются, обдумывая, а что за генофонд носит он в себе. Была бы возможность, и в трусы бы залезли, чтобы проверить способности. Суки.



Ильдар съежился, уперся взглядом в окно, дожидаясь, когда автобус наконец поедет. На улице было темно, салон отражался в стекле, как в зеркале. Когда между кресел показился розовый шар, Ильдар сразу понял, что вселенная решила его добить. Очень беременная девица, на вид ровесница Юльки, требовала уступить ей место, остановившись у ряда, где спрятался Ильдар. Его соседка, бледная как смерть, в сером пальто, принялась отбrehиваться, зло дергая плечом, будто под лопаткой у нее засело что-то острое.

Нужно было встать, уступить место и беременной, и бледной. Но Ильдар сидел, старательно не прислушиваясь к ругани. Там уже препирались, зло выкрикивая первые оскорбления. Потом послышался трагический всхлип. Ильдар пошарил в кармане, отыскал наушники и с облегчением отгородился от мира. Играло что-то электронное, случайно предложенное музыкальной сетью. Никакой смысловой нагрузки, ни единого шанса для мыслей. Ритм, синтезированные звуки, полнейшее ничего.

Да только телефон в руках стал бомбой замедленного действия. Руки сами потянулись к поисковику. Пальцы сами погуглили аборт на раннем сроке. Глаза сами пробежались по строкам, изучая возможности и варианты. Никогда еще Ильдару не было так гадко. И страшно так не было. Но самым жутким оказалась слабая, задавленная совестью радость, что все это его заденет лишь по касательной. Не ему садиться в гинекологическое кресло, не ему выбирать, как все произойдет, не ему истекать кровью, не ему выгонять из тела новую жизнь. Не ему. Господи, если ты есть, спасибо тебе.

Когда водитель потребовал оплатить проезд, и все разом зашевелились, Ильдар вынырнул из странной своей молитвы, как из ледяной полыни. Схватил воздух ртом, огляделся. Бледной в сером пальто рядом уже не было. Теперь соседнее место занимал мужик в плаще как у маньяка. Он сидел вполоборота, разговаривая с кем-то позади себя. Ильдар мельком оглянулся, успел заметить серое сукно и короткую стрижку – ага, вот куда делась бледная. Поискал глазами розовый шар: беременная сидела через ряд впереди, хлюпала покрасневшим носом.

Рокировка успела произойти, пока Ильдар барахтался среди ссылок на клиники, а теперь все искали по карманам мелочь и просили ее передать. Триста сорок девятый маршрут дешевой визной не щеголял. Народ всегда жаловался на тарифы, но исправно платил. У Ильдара была скидка по студенческому, но тащиться и показывать его совершенно не хотелось. Он отыскал в кармане мелочь, отсчитал семьдесят шесть рублей и протянул мужику в плаще. Тот сидел у прохода, так что передавать оплату выпадало ему.

Мужик уже отвернулся от девицы в пальто и как-то странно обмяк, упершись затылком о сиденье. Лицо его стало серым, как листок дешевой бумаги. В одной руке он сжал два мятых столовника, другой царапал обивку сиденья. Ильдар хотел было ссыпать ему мелочь, но мужика затряс озноб. Точно больной какой-то. Только заразиться не хватало.

Ильдар наклонился вперед, чтобы предложить свои деньги сидящим впереди него, но мужик слабо дернулся, мол, на вот, бери. Пришлось взять. Шершавая, будто стертая кожа чужих пальцев больно царапалась. Ильдар выудил столовники, стараясь не дышать, надеясь, что это спасет его от невиданной заразы, делающей мужика похожим на ходячий труп.

Мысль, что нужно прямо сейчас вытереть руки салфеткой, лучше незаметно, но вообще плевать, стала последней до того, как Ильдара скрутило в морской узел. Что-то вдруг лопнуло внизу живота. Что-то инородное зашевелилось там, забилося, как рыбка, выловленная сачком. Ильдар попытался закричать, но крик не шел. Нечему было кричать. Не было больше Ильдара. Была только боль. Неопознанная, незнакомая, страшная боль где-то под пупком.

Ослепительная волна в одно мгновение заполнила все тело, все мысли, все желания. Не стало автобуса, мелочи в руке, Юльки, ребенка, клиник и абортот. Осталась лишь боль, пульсирующая в такт сердцу, с каждым ударом бьющая все сокрушительней.

Ильдар не мог вздохнуть, ему казалось, что он истекает раскаленной кровью, что в самое нутро его вонзили ржавый крюк, а теперь крутят, медленно извлекая внутренности на свет божий. Ильдар схватился за живот рукой, чтобы вся эта требуха не посыпалась на пол.

– Передавать будете? – донеслось с переднего сиденья.

Ильдар попытался вдохнуть для ответа, попросить помощи, закричать хотя бы, но из груди вырвался чуть слышный хрип. Под рукой разрывался все новой и новой болью живот. Что там? Аппендицит? Должно болеть справа, а болит всюду. Внезапное воспаление? Перитонит? Камень из почки выходит? Ильдар судорожно перебирал варианты, ни один не отозвался в нем узнаванием. Только страшные картинки из гугла, где несуществующего еще ребенка высасывают из истерзанной матки инструментами, достойными пыточной комнаты. Стоило вспомнить о них, как боль умножалась в сто тысяч раз, становясь настолько большой, что просто не помещалась в животе Ильдара, в этом автобусе, в городе этом, на всей планете.

«Психосоматика», – подумал Ильдар и тихонечко выдохнул.

Это ж надо таким восприимчивым быть. Глупо как. А ведь и правда поверил, что сейчас умрет. Взял и напридумывал себе аборт, прямо на живую, одной фантазией. Идиот.

Ему даже стало легче, он нашел в себе силы поднять голову, сфокусироваться на том, кто тянул к нему руку, мол, давайте уже оплату. Сунул столтныки от мужика, ссыпал свою мелочь. Почувствовал, как пальцы его мазнули по холодной женской ладони и порадовался, что может чувствовать что-то, кроме боли.

А потом наступил конец света. Стоило только подумать, что вся эта ерунда – выходка измученного стрессом мозга, как ржавый крюк под пупком раскалился добела. Ильдар даже услышал, как зашкворчало там, уловил запах паленой плоти.

«Возможные кровотечения прижигаются в процессе абортирования», – услужливо вспыхнуло в памяти.

Если бы Ильдар мог, он бы завизжал. Забился бы, завопил. Но для крика нужно дыхание, дышать же Ильдар разучился.

### **Настя Бехчина**

Детство свое Настя помнила смутно. Образы наплывали друг на друга замыленные, как неудачное фото. Колючее шерстяное платьице в серую клетку. Славная кошечка, которую Настя потянула за хвост, а та ощерилась и ударила лапой, резко и страшно. Прозрачное зимнее солнце, что прорывалось через окно, рисуя на маминой кровати четкую полосу. Рисовая каша в детсадовской столовой: она отливала жемчугом, ее было вкусно есть с бутербродом – сдобная булочка и кусочек масла. Настя даже не была уверена, что обрывочные эти кадры принадлежат ей, скорее сборная солянка из советских фильмов и чужих воспоминаний.

Но одно из них точно было ее собственным. Раннее утро, мама собирает Настю в школу. По экрану пузатого телевизора бежит нечеткая картинка новостей, но мама их не слушает. Она натягивает на Настю темно-синие зимние колготы. Настя лежит на диване, опираясь спиной на мягкую подушку, Насте очень хочется спать, но мама хмурится и просит тянуть носок. Одним плечом она прижимает к уху массивную черную трубку. На другом конце – чуть визгливый голос тети Тани. Мама слушает ее, покачивая головой, будто движение это может передаться невидимому собеседнику.

– Ну, сама знаешь, – говорит мама. – Мужика нужно держать. Окольцовывать его надо, мужика этого, Тань. Бабой родилась, бабой и будь.

Настя тянет носочек, и он тонет в синеве растянутой колготы.

– Ага, – поддакивает мама, хватая Настю за вторую ногу. – Дуру не надо из себя строить, фифу. Она ему что, не давала, видать? Вот и ушел. А кто подобрал, с того спросу нет.

Фырчит, довольная своей решительностью.

– Ой, Танька, я б сама его подобрала. Мужик как мужик. Не пьет же, да? Воооот...

Настя слушает маму, застегивая на поясе черную юбочку.

– Не будь душой. И мужика держи, – подводит итог мама и прощается с тетей Таней.

Это «не будь душой» запомнилось Насте ярче всего. Она и не поняла его толком, но запомнила. А потом, когда повзрослела, то и «держи мужика» пригодились. За это время мама успела побыть душой трижды, трижды упуская из своих рук хороших мужиков.

Первый – Олег Васильевич – носил смешные усы и при каждой встрече дарил Насте оранжевые мандарины. Кислые и с косточками. Но мама учила всегда радоваться его гостинцам. У второго – Алексея Геннадьевича – была своя дочка, о которой он любил маме рассказывать – громко, чтобы Настя слышала. Его Верочка и на пианино играла, и на олимпиаде по природоведению взяла гран-при, и даже крутить ей локоны не нужно было, она с рождения носила их копной. Алексей Геннадьевич пробыл с Настей мамой недолго, вернулся к маме Верочки. Видимо, та была не душой.

Третий пришел в их дом, когда Настя заканчивала девятый класс, ушел – в конце ее второго курса. Валентин Сергеевич любил подолгу стоять на балконе в семейных трусах, осматривая двор гордым взглядом, будто все это возводилось его большими волосатыми руками. Он много говорил, громко ругался с телевизором, но в целом был хорошим мужиком. Работал, не выпивал, даже отвез Настину маму в Сочи. Году к четвертому их совместного житья мама совсем расслабилась. Начала придирается и спорить, научилась греметь посудой и презрительно цокать языком. А потом в контору, где трудился Валентин Сергеевич, устроилась молодая Леночка. Леночка душой не была. Так дом покинул третий мужик.

После него Настина мама решила, что никаких больше мужиков у нее не будет, время ждать внука.

– Не будь душой, доча! – хмурясь, бубнила мама, когда Настя прибежала из универа, полная мыслей, надежд и непрочитанных книг. – Горбатишься до утра над тетрадками, зрение сядет, кому очкастая нужна будешь?

Настя привыкла маме верить. Мама никогда ее не подводила. Они всегда были вдвоем, даже в годы Валентина Сергеевича. Мама умела вылечить любую болячку, мама знала, как решаются уравнения по тригонометрии, мама плела красивые косы, гладила платья и целовала на ночь, как бы сильно они ни ссорились днем. И, если мама считает, что очкастой Настя никому не будет нужна, что ж, Настя пойдет к врачу, проверит зрение и перестанет готовиться к сессии по ночам.

На следующий день Настя вошла в приемную офтальмолога, заняла очередь и углубилась в изучение брошюр, щедро раскиданных на столике в приемной.

– Анастасия Ивановна, возьмите талончик, пожалуйста. – Голос медсестры, сидевшей за стойкой у входа, заставил Настю поднять голову.

Больше, чем быть душой, Настя ненавидела мешать другим работать. Она вскочила с диванчика и ринулась за талоном. В этот момент дверь кабинета распахнулась. Настя шарахнулась в сторону, но было поздно.

Парень, шагнувший в приемную, сбил ее с ног, но тут же легко подхватил, останавливая позорное падение. Настя посмотрела в его широко распахнутые глаза человека, которому только что насильно расширили зрачки, и подумала, что за талончиком она сегодня не пойдет. Не такая уж она и дура.

Игорь извинялся все их недолгое свидание в ближайшем кафе. Настя улыбалась в высокую пенку взбитого молока и почти не слушала, что он там говорит. Рассматривала его короткую стрижку, рубашку с закатанными рукавами и аккуратные пальцы, в которых он крутил ложку, перед тем как помешать сахар в чае.

Не быть с ним душой оказалось очень легко. Не звонить первой, но всегда отвечать на его звонки. Не требовать совместных выходных, но самой быть свободной по вечерам. Улыбаться его друзьям, но не заводить с ними лишних разговоров. Не хвататься за него на улице, не рас-

считывать на особую поддержку, потому что сама виновата, он же говорил. Это касалось простуды, проваленного экзамена и ссор с мамой. Настину маму Игорь любил. Чувство это было взаимным.

Они часто сидели за столом все вместе – Игорь во главе, Настя по правую руку, мама по левую – и разговаривали. Чаще всего об Игоре. О том, что в банке его не ценят, но это потому что дураки. О том, как ловко он закрыл квартал, всучив кредиты с высокой ставкой там, где можно было бы и подешевле. О том, какая ужасная погода, и вот бы вы, Елена Сергеевна, связали мне шарфик, мы еще схему в прошлый раз рассматривали, ну такая красота.

С Настиной мамой Игорь был ласков и нежен. С Настей требователен, но справедлив.

– Настен, ты б приделась, что ли? – попросил он на третий месяц их встреч.

И Настя легко отказалась от любимых кусачих юбок ниже колена – чистая шерсть, тепло и спокойно. На дальнюю полку ушли свободные платья, удобные ботинки и даже россыпь медных колечек.

– Давно пора было, – ворчала мама, отсчитывая деньги для обновок. – Спасибо Игорьку, вразумил тебя, а то ходишь старой девой...

В новых шмотках было неуютно, но Настя терпела. Помнила, что главное – не быть дурой. Дурой не быть.

О ночных подготовках к сессии пришлось забыть, как только Игорь переехал. Теперь спать они уходили не позже одиннадцати, чтобы вставать в шесть тридцать и завтракать вместе, как настоящая семья. Готовила им мама, румяная и довольная. Ей снова было о ком заботиться. Она жарила яичницу, пекла оладушки и пышные омлеты. Подкладывала на тарелку Игоря лучшие кусочки и осторожно замечала:

– Совсем бледный стал, Игоречек, надо отдыхать...

Игорь деловито расправлялся с завтраком, кивал, соглашаясь, мол, да, но отдых нам только снится. Настя не смотрела на них, намазывала масло на подсушенный хлеб и отчаянно хотела спать. Ей было скучно. Ей постоянно было скучно. Скучно покупать обтягивающие кофточки, скучно ходить на дурацких каблуках, скучно смотреть идиотские фильмы с Игорем, скучно гладить его рубашки с мамой. Она еще не успела выйти замуж, а семейная жизнь ей уже осточертела.

Покончив с завтраком, Игорь натягивал выглаженную рубашку, целовал Настину маму в щеку, ждал, пока Настя обрядится в куцее холодное пальто, засунет ноги в сапоги с вычурным, пошлым каблуком, и закрывал дверь своим ключом. В молчании они шли до остановки, в молчании садились в автобус, в молчании ехали по триста сорок девятому маршруту. Игорь выходил за две до конечной, пересаживался на маршрутку, которая везла его в типовое отделение типового банка. Настя научилась узнавать окрестности по деревьям. Сразу за поворотом стояли три худые березки, потом проплешина, потом еще две. Тут Игорь кричал водителю, поднимался, скоро прикасался губами к Настиным губам и выскакивал наружу.

Этот момент, когда его спина скрывалась за дверью автобуса, был лучшим моментом всего дня. Наконец Насте переставало быть скучно. Рука сама лезла за пазуху, выуживала телефон и набирала первое за день сообщение.

«Ты едешь?»

«Я еду, а ты?»

«И я».

Лариса Кузнецова в одинаковой мере ненавидела свое имя и фамилию. Она грязно ругалась, когда обсуждала политику, курила толстые сигариллы и пахла чем-то острым, мужским и стыдным. Аспирантка факультета политологии, презирующая науку, которой собиралась посвятить всю свою жизнь, Лора любила лысых кошек и крепкий сухой мартины.

Все это Настя узнала в первый же день знакомства, просидев с Кузнецовой бок о бок три часа на подоконнике в университетском туалете. Лорка курила и качала головой: ну и дура ты,

Бехчина. Настя и сама не поняла, как же так вышло, но рассказывать ей о скучной своей жизни было совсем не скучно.

Вначале, когда Лорка нашла ее рыдающей в грязной кабинке, Настя до ужаса испугалась. Кузнецова распахнула дверцу, разразилась ругательствами и принялась вытаскивать упирающуюся, мокрое от слез тело, попутно осматривая запястья на наличие порезов.

– Совсем поехавшая? Чего рыдаешь? Слышь, а?

В ответ рыдания только усилились. Настя просто не могла остановиться, задыхаясь в истерике. Тогда Лорка потащила ее к раковине, открыла вентиль и принялась плескаться холодной водой. Настя икнула, вдохнула воды, закашлялась, начала отплеиваться. А когда наконец сумела вдохнуть, с удивлением поняла, что успокоилась.

Лорка смотрела на ее страдания, закуривая сигаретку.

– Ну, полегчало?

Настя поглядела на себя в зеркало. Глаза опухли, нос покраснел, по щекам синели разводы потекшей туши. Игорек на восьмое марта подарил им с мамой абонемент на мастер-класс по визажу. Маме обучение далось куда лучше, но Настя тоже старалась соответствовать.

– Эй, на борту, у тебя спрашиваю – полегчало?

Пришлось отвечать.

– Да, спасибо.

Лорка коротко засмеялась и выпустила изо рта облако вонючего дыма.

– Ну шик. А чего стряслось-то? Жизнь – говно невыносимое?

Настя коротко покачала головой. Ее жизнь была вполне себе терпимой – есть где жить, есть с кем спать, есть чьими оладушками завтракать. Просто скучно очень. По тому, как удивленно округлились щедро подведенные глаза сидящей на подоконнике, Настя поняла, что последнее она произнесла вслух.

– Садись давай, расскажешь, как это – «скучно жить», – предложила Лорка, растягивая накрашенные алым губы. – Ни разу не пробовала.

С того дня прошло почти полгода. А если точнее, сто пятьдесят шесть дней, сто пятьдесят шесть встреч. Вначале на холодном подоконнике туалета между парами, потом на диванчиках Шоколадниц и Кофе-Хаусов. На семьдесят третий день Лорка позвала к себе.

Настя вообще была помешана на цифрах, но тут особенный случай. Каждый их час, вырванный из скучной жизни, наполнялся невыносимой остротой ощущения момента. Секунда длилась целыми сутками. Настя успевала прожить век, пока Лорка прикуривала толстую сигаретку и делала первый, самый сладкий затяг. Она смотрела через стекла очков в строгой черной оправе, выпускала дым и слушала Настю, и смеялась над ней, и говорила сама, и снова слушала. И все это была жизнь – огромная, как сердце Лорки, раздающей приговоренных к усыплению котов по знакомым, яркая, как ее помада, острая, как духи, кружащая голову, как все ее присутствие рядом.

В тот день они сидели в дальнем углу очередной кафешки. Свободных мест почти не было, замученный официант втиснул их на узкий диванчик, спрятанный от основного зала большой пальмой. Настя сходу принялась жаловаться на маму, которая всюду совала нос, делая сосуществование невыносимым.

– Я говорю Игорю, ну давай съедем! У меня же стипендия и репетиторство, у него зарплата хорошая. Снимем однушку, да хоть комнату. Главное, сами. Одни.

Лорка молчала, стуча короткими ноготками по столу, запрет на курение в кафе резал ее по живому.

– А он, представляешь, не хочет! Мы без нее не справимся, говорит. Она без нас зачахнет! Мы не можем так с ней поступить! – Настя сделала глоток имбирного чая, пропустила через себя горечь. – Причем, это ночью было. Дверь закрытая, все дела. А угадай, что утром?

– Что? – как-то нехотя спросила Лорка.

– А утром мама со мной не разговаривала! Нет, ты представь, она подслушивает, о чем мы говорим! – Настя поймала рассеянный Лоркин взгляд и осеклась. – Тебе скучно, да?

– Уж не скучнее, чем тебе с ними.

Подняла пузатый бокал, допила последний глоток белого полусладкого, осторожно поставила на стол, провела языком по зубам, стирая остатки помады. Выдохнула глубоко-глубоко, будто все это время, пока Настя рассказывала ей о прилипчивой матери, мешающей счастью, Лорка не могла вдохнуть, а теперь, когда воцарилась тишина, воздух снова стал пригодным для дыхания.

– Ты же понимаешь, что мать твоя влюблена в Игоречка вашего золотого? – спокойно, как о смене погоды, спросила она, рассматривая царапины на столешнице через прозрачное дно бокала. – Как кошка влюблена, как сука последняя. Ты же не дура, Настька, ты же давно все поняла.

Теперь нечем дышать стало Насте. Она распахнула рот, чтобы засмеяться, чтобы перевести все в глупую шутку, но не сумела. Это вышло бы фальшиво, это вышло бы скучно. Тогда Лорка встала бы с дивана, выбралась бы из их угла и скрылась бы за пальмой, чтобы никогда больше не курить в туалете между парами. Настя была не дура, она понимала, что этого ей не вынести. Нужно было ответить. Нужно было найти слова.

Лорка выжидающе смотрела на нее. В отличие от Насти, она не нуждалась в словах. Диван скрипнул, когда Лорка приблизилась совсем близко – настолько, что ее острыми мужскими духами в одно мгновение пропах весь мир. Они целовались, задыхаясь от осознания правильности того, что делают. Все оказалось очень просто. Просто их губы идеально подходили друг другу. Просто их дыхания смешивались в невыносимо пьяный, немыслимо сладкий дурман. Просто семьдесят третий день стал днем, когда Настя поняла, как это, когда тебе совсем, ну вот ни капельки не скучно.

Позвонить домой она смогла ближе к полуночи. С наброшенным на голое тело скандинавским пледом вышла попить воды в Лоркину кухню, увидела на плите сковороду и ахнула от ужаса, вспомнив мамины завтраки. Выскочила в коридор, чуть не раздавила спящую на ворохе вещей лысую кошку, отыскала сумку и дрожащими руками включила телефон. Два осторожных пропущенных и одна-единственная эсэмэска от Игоря. Она пропала на добрых четыре часа, не пришла домой к ночи, а мир не рухнул! Никто не вызвал МЧС, никто не начал обзванивать морги. Ей два раза позвонили и бросили одно сухое сообщение: «А ты вообще где?»

Сжимая в кулаке телефон, Настя вернулась в кухню. Лорка уже была там – курила в распахнутую форточку. Услышав шаги, она не обернулась, спросила с напускным равнодушием:

– Такси вызвать?

В горле свербило от внезапно полученной свободы: вместо ответа Настя наскоро набрала эсэмэску, мол, все хорошо, осталась у подруги, телефон сел, буду завтра, шагнула к подоконнику, уселась рядом с Лоркой и накрыла ее узкие плечи пледом.

– Не надо такси. Я же не дура.

Она правда больше не была дурой, но и махом разорвать старые связи не сумела. Перевозила к Лорке вещи, гладила за голым теплым кошачьим ухом Жужу, училась готовить завтраки не хуже маминых, но все тайком. Все украдкой. Лорка злилась, курила все больше, худела и чахла.

– Что за детсад, Бехчина! – твердила она. – Скажи ты им уже! Пусть трахаются без зазрения совести!

Настя морщилась. Она верила каждому Лоркиному слову, кроме тех, что та отпускала в адрес романа мамы с будущим зятем. Думать о таком было невыносимо, представлять – тошнотворно. Но, в очередной раз сочиняя причину внезапной ночевки у подруги, она ловила то облегченный мамин вдох, то быстрый взгляд Игоря в сторону тещи. Они не спорили, не дозна-



вались, где Настя пропадает. Они ничего не предпринимали. Они держали Настю за дуру так же, как делала их дураками она.

– Это не здорово, Насть, – повторяла Лорка, а Настя кивала, но продолжала юлить и оттягивать момент, когда придется вскрывать правду, как воспаленный нарыв.

На сто пятидесятый день Лорка взорвалась. Она кричала, что не хочет больше ни часа участвовать в этом фарсе, что сама уже сходит с ума, а на Настю ей так и вовсе жалко смотреть.

– Дура! Дура последняя, – бросила она и с силой затушила сигарету о подоконник, оставляя на нем жирный горелый след. – Скажи им! Скажи сегодня же! Иначе я все... – Запнулась, зло всхлипнула. – Если не скажешь, я сливаюсь. Не могу так больше, поняла?

Настя подошла к ней сзади, обняла дрожащее острое тело.

– Неделя. Дай мне неделю, хорошо?

Лорка застыла в объятиях, будто каменная, но все-таки кивнула.

– Только не приходи, пока не решишь там все, ладно? – тихо попросила она. – Если вернешься, то насовсем.

Настя почувствовала, как закипают слезы, но расплакаться вот так, жалобно выскуливая себе прощение, когда измучил до крайности самого лучшего на свете человека, было подло. Она быстро прикоснулась губами к острому позвонку на узкой спине, оторвала от пола пудовые ноги и вышла из квартиры, не разрешив себе обернуться, даже когда обиженная невниманием Жужа жалобно мяукнула ей вслед.

Неделя дома обернулась адом. Посвежевшая в ее отсутствие мама осунулась и вернула себе все исчезнувшие было годы. Игорь раздражался на каждый пустяк, рычал в ответ на молчание и утыкался в телефон. На третий день Настя поняла, что переписывается он с мамой, и ее отпустило. Слишком веселым оказался финал их скучной жизни. Они продолжали вместе ездить по триста сорок девятому маршруту. Настя продолжала носить глупые шмотки, которые Игорь когда-то выбрал для нее. Завтракать с ним за общим столом. Даже разок погладила ему рубашку.

Утром шестого дня Настя поняла, что с нее достаточно. Она встала в пять, бросила в центр комнаты сумку и принялась складывать в нее последние вещи. Игорь, спящий рядом, мигом проснулся, проследил за ней напряженным взглядом, поднялся и вышел, не сказав ни слова. В коридоре озабоченно зашептались. Настя с трудом сдерживала истеричный смех, больше всего ей хотелось прямо сейчас уехать из этого сумасшедшего дома, но возвращаться к Лорке стоило полностью оборвав все нити, тянувшиеся назад.

Например, глупые кофточки, которые покупала, чтобы не быть душой. Или вот это платье с наклепленными блестками. Или вот эти джинсы, такой низкой посадкой, что пришлось потом лечить простуженную поясницу. Все эти идиотские тряпки принадлежали той Насте, которая так отчаянно пыталась не быть душой, но стала ей.

Получилась целая сумка ненужного шмотья. Настя поволокла ее через всю комнату, распахнула дверь и направилась к кухне.

Мама стояла у плиты, методично переворачивая пышные оладушки, чтобы они пропеклись с боков. Игорек застыл у окна – напряженный, почти испуганный. Он ежился на сквозняке из приоткрытой форточки, но не сходил с места, будто пол под ним мог в любой момент провалиться. Сквозило сильно, обязательно же продует дурака. Настя неловко стукнула костяшками свободной руки о косяк и остановилась в дверях.

– Я тут... это... – И сбилась, потому что за шесть бесконечных дней не успела придумать, что же сказать напоследок.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.